

Глава IV. Москва: первые впечатления

Прибытие из Петрограда до Москвы подобно внезапному перемещению из пустыни к активной жизни, настолько большой контраст. Выйдя на большую площадь перед главным московским вокзалом, я была поражена при виде суматошных толп, извозчиков и носильщиков. Та же самая картина была на всем пути от вокзала до Кремля. Улицы были заполнены мужчинами, женщинами и детьми. Почти все несли узлы, или тянули нагруженные санки. Была жизнь, движение, и движение, весьма отличающееся от неподвижности, которая угнетала меня в Петрограде.

Я заметила значительное присутствие военных на улицах города, и множество мужчин, одетых в кожаные куртки с оружием на поясе. «Чекисты, наша Чрезвычайная Комиссия», – объяснил Радек. Я слышала о ЧК прежде: Петроград говорил о ней со страхом и ненавистью. Однако солдаты и чекисты никогда не были слишком на виду в городе на Неве. Здесь, в Москве они казались повсюду. Их присутствие напомнило мне о замечании, которое сделал Джек Рид: «Москва – военный лагерь», – сказал он; – «шпионы всюду, бюрократия слишком деспотична. Я всегда чувствую себя освободившимся, когда уезжаю из Москвы. Но, тогда, Петроград – пролетарский город, проникнутый духом Революции. Москва всегда была иерархической». Тем не менее, жизнь была интенсивна, разнообразна и интересна. То, что наиболее сильно поразило меня, помимо демонстративного милитаризма, была невосприимчивость людей. Казалось, не было никаких общих интересов между ними. Всякий мчался как обособленная единица в собственных поисках, толкая и ударяя всех остальных. Неоднократно я видела, как от истощения падали женщины или дети, и никто не останавливался, чтобы оказать помощь. Люди таращили на меня глаза, когда я склонялась над рассыпавшейся кучей на скользком тротуаре или собирала упавшие узлы. Я говорила с друзьями об этом, что, на мой взгляд, выглядело как странная нехватка сочувствия. Они объясняли это как результат отчасти общего недоверия и подозрения, созданного ЧК, отчасти из-за всепоглощающей задачи найти пропитание на день. Каждый не имел ни жизненных сил, ни чувств, чтобы думать о других. Все же, казалось мне, в Москве не было такой нехватки пищи как в Петрограде, и люди были более тепло и хорошо одеты.

Я проводила много времени на улицах и на рынках. Крупнейший из рынков, знаменитая Сухаревка, постоянно был в движении. Иногда солдаты совершали набеги на рынки; но, как правило, потом их оставляли в покое, чтобы продолжить свою деятельность. Они представляли самую жизненную и интересную часть жизни города. Здесь собирались пролетарий и аристократ, коммунист и буржуа, крестьянин и интеллигент. Здесь они были связаны общим желанием продать и купить, торговать и заключить сделку. Здесь можно было найти в продаже ржавый железный горшок рядом с изящной иконой; старую пару ботинок и затейливой работы кружева; несколько ярдов дешевого набивного ситца и

красивую старую персидскую шаль. Вчерашние богачи, голодные и изнуренные, лишались своей последней роскоши; богачи сегодняшнего дня приобретали – это была действительно удивительная картина в революционной России.

Кто покупал пышное убранство прошлого, и откуда бралась покупательная способность? Покупатели были многочисленными. В Москве люди были не столь ограничены относительно источников информации как в Петрограде; сами улицы были тем источником.

Русские люди даже после четырех лет войны и трех лет революции оставались бесхитростными. Они с подозрением и сдержанно относились к незнакомцам поначалу. Но когда они узнали, что человек прибыл из Америки и не принадлежал к правящей политической партии, они постепенно теряли свою сдержанность. Большое количество информации, которую я получила от них, послужило объяснением некоторых вещей, которые озадачивали меня в начале моего приезда в Россию. Я часто говорила с рабочими и крестьянами, с женщинами на рынках.

Силы, которые привели к Русской Революции, остались terra incognita для этих простых людей, но сама революция глубоко запала в их души. Они ничего не знали о теориях, но полагали, что не должно быть больше ненавистных бар, и теперь баре были снова над ними. «У барина есть все», – говорили они, «белый хлеб, одежда, даже шоколад, в то время как у нас ничего нет». «Коммунизм, равенство, свобода», – они усмехались – «ложь и обман».

Я возвращалась в «Националь», ушибленная и избитая, мои иллюзии постепенно исчезали, мои основы рушились. Но я не отступала. В конце концов, думала я, простые люди не могли осознать огромные трудности, стоящие перед советским правительством: империалистические силы выступают против России, многочисленные нападения, истощившие ее мужчин, которые иначе были бы заняты в производительном труде, блокада, которая была безжалостным убийством молодежи России. Конечно, люди не могли понять эти вещи, и я не должна быть введена в заблуждение их горечью, порожденной страданием. Я должен быть терпеливой. Я должна добраться до источника зла, противостоящего мне.

«Националь», также как петроградская «Астория», прежде был гостиницей, но не в столь хорошем состоянии. Там не выдавались никакие пайки кроме трех четвертей фунта хлеба каждые два дня. Вместо этого была общая столовая, где подавались обед и ужин. Обед состоял из супа и небольшого количества мяса, иногда давали рыбу или оладьи, и чая. На ужин у нас обычно были каша и чай. Еда не была слишком обильна, но можно было прожить на ней, это не было так отвратительно приготовлено.

Я не видела причин для подобного расходования съестных припасов. Посетив кухню, я обнаружила множество слуг, управляемых многими чиновниками, начальниками, и инспекторами. Кухонным работникам плохо платили; кроме того, им не давали ту же самую еду, что и нам. Они негодовали по поводу этой дискриминации, и они не были заинтересованы в своей работе. Эта ситуация привела к большим взяткам и убыткам, преступным перед лицом общей нехватки еды. Немногие из обитателей «Националя», я понимала, принимали пищу в общей столовой. Они приготавливали себе еду сами или

поручали слугам в отдельной кухне, предназначенной для этой цели. Там, также как и в «Астории», я обнаружила те же самые битвы за место у плиты, те же самые препирательства и ссоры, то же самое жадное, завистливое подглядывание друг за другом. И это был коммунизм в действии? – я задавалась вопросом. Я слышала обычные объяснения: Юденич, Деникин, Колчак, блокада – но стереотипные фразы больше не удовлетворяли меня.

Перед тем как я уехала из Петрограда, Джек Рид сказал мне: «Когда Вы приедете в Москву, разыщете Анжелику Балабанову. Она примет Вас с удовольствием и поможет Вам, если Вам не удастся найти себе комнату». Я слышала о Балабановой раньше, знала о ее работе, и естественно стремилась встретиться с ней.

Спустя несколько дней после приезда в Москву я позвонила ей. Хотела ли она видеть меня? Да, она сразу согласилась, хотя она неважно себя чувствовала. Я нашла Балабанову в маленькой унылой комнате, лежащей свернувшись калачиком на диване. Она не была привлекательной, но ее глаза, большие и сияющие, излучали симпатию и доброту. Она приняла меня очень любезно, как старый друг, и немедленно заказала неизбежный самовар. Во время чаепития мы говорили об Америке, рабочем движении там, нашей высылке, и, наконец, о России. Я задавала ей вопросы, те же самые, что и многим другим коммунистам: о контрастах и несоответствиях, встречаемых мной на каждом шагу. Она удивила меня, не давая обычных оправданий; она была первой, кто не повторял старый рефрен. Да, она говорила о нехватке еды, топлива, и одежды, на которую ложилась большая часть ответственности за взяточничество и коррупцию; но в целом она считала, что сама жизнь посредственна и ограничена. «Скала, о которую разрушены самые высокие надежды. Жизнь мешает лучшим намерениям и ломает самые прекрасные порывы», – сказала она. Пожалуй, довольно необычные взгляды для марксиста, коммуниста, и того, кто находится в самой гуще сражения. Я знала, что она была тогда секретарем Третьего Интернационала. Это была личность, она не была простым подражателем, она глубоко чувствовала сложность российской ситуации. Я ушла под глубоким впечатлением, плененная ее грустными, светящимися глазами.

Я скоро обнаружила, что Балабанова – или Балабановф, как она предпочитала себя называть – была в полном распоряжении всех. Несмотря на неважное здоровье и занятость множеством дел, она все же находила время оказывать помощь множеству своих посетителей. Часто она оказывалась без необходимого ей самой, отдавая свой паек, всегда занятая попытками достать лекарство или какой-нибудь маленький деликатес для больного или страждущего. Ее особой заботой были нуждающиеся итальянцы, которых было множество в Петрограде и Москве. Балабанова жила и работала в Италии много лет, пока она не стала почти настоящей итальянкой. Она глубоко сочувствовала им, тем, кто был так далек как от их родной земли, так и от событий в России. Она была их другом, их советчиком, их главной опорой в мире споров и борьбы. Не только итальянцы, но и почти все остальные были объектом заботы этой замечательной маленькой женщины: никому не нужен был членский билет коммунистической партии, чтобы найти путь к сердцу Анжелики. Не удивительно, что некоторые из ее товарищей смотрели на нее, как на «сентименталистку, тратящую попусту свое драгоценное время на филантропию». Много словесных баталий я имела с подобным типом коммунистов, которые стали черствыми и

безжалостными, целиком лишившись тех качеств, которые характеризовали русского идеалиста прошлого.

Подобную критику Балабановой я услышала от другого ведущего коммуниста, Луначарского. Еще в Петрограде мне сказали о нем насмешливо, «Луначарский – вертопрах, который тратит впустую миллионы на глупые предприятия». Но я стремилась встретиться с человеком, который был комиссаром одного из важных ведомств в России – образования. Теперь такая возможность представилась.

Кремль, старую царскую цитадель, я нашла очень охраняемым объектом, недоступным «обычному» человеку. Но я приехала по записи и в компании человека, который имел входной билет, и поэтому преодолела охрану без проблем. Мы скоро достигли апартаментов Луначарского, расположенных в старом необычном здании внутри Кремля. Хотя приемная была переполнена людьми, ждущими своей очереди, Луначарский пригласил меня тотчас же, как только обо мне известили.

Его приветствие было очень сердечным. «Намерена ли я остаться вольной птицей, или же я пожелаю присоединиться к нему в его работе?» – был один из его первых вопросов. Я была скорее удивлена. Почему придется отказаться от свободы, особенно в образовательной работе? Разве не являются инициатива и свобода неотъемлемыми? Однако я пришла, чтобы узнать из уст Луначарского о революционной системе образования в России, о которой мы так слышаны были в Америке. Я особенно интересовалась заботой, которую получают дети. Московская «Правда», также как и петроградские газеты, вела дискуссии об обращении с морально дефективными детьми. Я выразила удивление таким отношением в советской России. «Конечно, это все является варварским и устарелым», – сказал Луначарский, – и я борюсь с этим изо всех сил. Спонсоры тюрем для детей – старые уголовные юристы, все еще преисполненные царскими методами. Я организовал комиссию из врачей, педагогов, и психологов, чтобы разобраться с этим вопросом. Конечно, те дети не должны быть наказаны». Я почувствовала огромное освобождение. Наконец нашелся человек, который избегает жестоких старых методов наказания. Я рассказала ему о замечательной работе, проделанной в капиталистической Америке судьей Линдси и о некоторых из экспериментальных школ для отсталых детей. Луначарскому очень было интересно. «Да, это то, что мы хотим здесь, американскую систему образования», – воскликнул он. «Вы конечно не подразумеваете американскую систему государственных школ?», – спросила я. «Вы знаете об освободительном движении в Америке против методов наших государственных образовательных школ; работе, проделанной профессором Дьюи и другими?» Луначарский немного слышал об этом. Россия так долго была отрезана от западного мира, была большая нехватка книг по современному образованию. Он стремился узнать о новых идеях и методах. Я чувствовала в Луначарском индивидуальность, полную веры и преданности Революции, ту, которая продолжала большую работу образования в физически и духовно трудных условиях.

Он предложил созвать конференцию учителей, если я буду говорить с ними о новых тенденциях в образовании в Америке, на что я с готовностью согласилась. Позже предполагалось посетить школы и другие учреждения. Я оставила Луначарского, переполненная новой надеждой. Я рассчитывала присоединиться к нему в его работе. Какое

большую услугу можно было оказать русским людям?

Во время моего посещения Москвы я виделась с Луначарским несколько раз. Он всегда был тем же самым доброжелательным человеком, но я скоро начала замечать, что ему препятствовали в его работе силы внутри его собственной партии: большинство его хороших намерений и решений никогда не увидело свет. Очевидно, Луначарский попал в ту самую машину, которая держала все в своих железных тисках. Что же это была за машина? Кто направлял ее движение?

Несмотря на то, что контроль за посетителями в «Национале» был очень строгий, никто не мог без специального пропуска войти или выйти из него, мужчины и женщины различных политических фракций ухитрялись приходиться ко мне: анархисты, левые эсеры, кооператоры, и люди, которых я знала еще в Америке и кто вернулся в Россию, чтобы участвовать в Революции. Они возвращались с глубокой верой и большой надеждой, но я видела, что почти все они становились обескураженными, а некоторые даже озлобленными. Широко отличаясь по своим политическим взглядам, почти всех моих гостей связывала общая история: история подъема Революции, замечательный дух, который вел людей вперед, возможности масс, роли большевиков как представителей самых чрезвычайных революционных лозунгов и их последующее предательство Революции, как только они обеспечили свою власть. Все говорили о Брестском мире как начале движения вниз. Особенно левые эсеры, культурные и честные люди, перенесшие множество страданий при царе и теперь видевшие, как препятствуют их надеждам и стремлениям, они были самыми решительными в своем осуждении. Они поддерживали свои утверждения свидетельствами опустошения, вызванного методами насильственной реквизиции и карательных экспедиций в деревнях, пропастью, созданной между городом и деревней, ненавистью, порожденной между крестьянином и рабочим. Они говорили о преследовании их товарищей, расстреле невинных мужчин и женщин, преступной неэффективности, растратах и разрухе.

Как тогда большевики могли удерживать свою власть? В конце концов, они были только маленьким меньшинством, приблизительно пятьсот тысяч членов по завышенным оценкам. Российские массы, мне сказали, были истощены голодом и запуганы террором. Кроме того, они потеряли веру во все партии и идеи. Однако, были отдельные крестьянские восстания в различных частях России, но они были безжалостно подавлены. Были также постоянные забастовки в Москве, Петрограде, и других индустриальных центрах, но цензура была настолько сурова, что мало что из этого становилось достоянием масс.

Я попыталась выяснить мнение своих посетителей об интервенции. «Мы не хотим никакого внешнего вмешательства», – было однозначное мнение. Они считали, что это просто играло на руку большевикам. Они чувствовали, что они не могли публично даже высказаться против них, пока Россия подвергалась нападению, а тем более не могли бороться с их режимом. «Не считаете ли вы, что тактика и методы, применяемые большевиками, вызваны интервенцией и блокадой?», – спорила я. «Это только отчасти так», – был ответ. «Большинство их методов возникло из-за их недостаточного понимания характера и потребностей русских людей и безумной навязчивой идеи диктатуры, которая не является даже диктатурой пролетариата, а диктатурой небольшой группы над пролетариатом».

